

<27 февраля 1922>

«В ПРЕЗИДИУМ ГПУ, товарищу УНШЛИХТУ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я только что приехала из Архангельска и привезла просьбу заключенных Пертоминского лагеря, моего мужа и других, о скорейшем переводе их в Архангельские лагеря. В Пертоминске они очень плохо чувствуют и почти все болеют малярией и цингой. Комендант прежний, Бачулис; обращение очень грубое, и полный произвол. Паек выдается по настроению коменданта, и также прогулки имеют, как вздумается коменданту. Притом же они имеют двор для прогулок десять сажень в длину и две сажени в ширину. Из камер устраивают темный карцер, так как до сего времени нет освещения, в достаточном количестве ламп, так сегодня дадут, а завтра отберут, и выдают две или три лампы на весь корпус. Врача там до сего времени нет и лекарств тоже нет, а какие и есть, то распределяет там санитар.

Притом я из разговора с комендантом выяснила, что он презирает евреев, а из высланных туда большая часть евреев, и он пользуется этой оторванностью и самовластно не признает никого и ничего, и делает, что ему только хочется, и в виду этого все заключенные просят о скорейшем переводе их в Архангельские лагеря»¹.

<24 февраля 1923>

«Пертомский лагерь принадлежит к группе северных лагерей ГПУ. Ему здесь все подведомственно: порядки, режим, начальство. Северные лагеря существуют уже несколько лет. Самое лихое время позади. Архангельск, Холмогоры, Пертоминск — это старые застенки, куда со всей России сгоняли тысячи и десятки тысяч людей, с которыми решали расправиться тихо, жестоко, без малейшего шума. Здесь кругом безвестные могилы многих тысяч. Здесь шли "на работы" десятки и возвращались единицы — просто "умирали" на работе... Здесь хроника богата случаями расстрелянных при "попытке" к бегству. Всюду здесь легенды, леденящие, наводящие ужас. В обстановке этих застенков воспитывалось целое поколение "начальств", больших и малых; они привыкли к особым методам управления, к системе расправы, к действию револьвером, к унижению людей; они научились ставить ни во что человеческую личность и жизнь. Они научились все обставлять глубокой тайной, измышлять бесконечные гадости для того, чтобы никуда не долетал даже намек на то, что здесь творится под покровом моря, леса и снегов.

На второй день нашего приезда сюда начальник лагеря Бачулис спокойно сказал на официальном приеме: "Вас здесь человек 50, стоит ли пачкать руки? Вот если бы вас здесь была тысяча, я очень быстро отправил бы вас за пределы РСФСР". Вот общая атмосфера лагеря, исторически сложившаяся. Социалистов в Пертоминске до сих пор не было. Здесь были контрреволюционеры, офицеры, матросы. Затем Пертоминск стал "штрафным" лагерем. Сюда направляли провинившихся заключенных из Архангельска. Вот это место на мертвом таком уголке на правом берегу Унской губы, занесенное снегами, и было избрано для нашей изоляции. Когда мы приехали в Архангельск — нам в вагоне мелочно лгали о целях нашего путешествия, даже тогда, когда мы, по поданным лошадям и количеству корма, сами догадались, что дело идет о Пертоминске. Мы вызвали представителей Арх<ангельского>

¹ ГА РФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 8. Л. 58. Машинопись.

Губ<ернского> От<дела> ГПУ, отказавшись выходить из вагона и грузиться до их приезда.

После долгих ожиданий пришли; после длительных изворачиваний сознались — "да, в Пертоминск". Мы прошли пешком почти все расстояние; в Пертоминск мы пришли спустя несколько дней после окончания осадного положения в лагере. Встретили нас у ворот лагеря начальствующие лица: комендант лагеря — латыш Бачулис (о котором пом<ощник> нач<альника> Упр<авления> сев<ерными> лаг<ерями> заметил, что он — эксцентрическая личность) и свита его. Бачулис во флотской шапке, в косоворотке с отстегнутым воротником, в галифе, заложив руки в карманы, тихо улыбался; свита нервничала. Интересна эта свита. Она вся состоит из уголовных заключенных. Им дали винтовки, револьверы и вывели в начальство. Комендант и его помощник — вольнонаемные, все остальные — заключенные. Заключенные — конвоиры, заключенные — тюремщики, надзиратели, заключенные — помощники; эта своеобразная, недурно придуманная система. Вся эта свора преступников — воров, бандитов, грабителей с большой дороги — тянется, ябедничает, старается, шпионит, и всем этим выслуживается, сокращается в сроках и приближается снова к воле, и, следовательно, снова в тюрьму.

И эти преступные псы — наше начальство, им мы отданы во власть, и они готовы каждую минуту вцепиться в нас. В старых тюрьмах царских времен только временами администрация натравливала уголовных на политических, и происходили побоища; теперь на этом выросла целая система. После нескольких минут пререканий ворота отворились, и мы очутились в самом концлагере. Вошли, и все стало ясно. С понятием о конц<ентрационном> лагере у нас было связано "полегчание", не тюрьма и не воля, полутюрьма-полуволя, сегодня — тюрьма, а через некоторое время выход в город, на работы, — поднадзорная воля. Когда мы вошли в лагерь, увидели — небольшой желтый двухэтажный флигель, бывшая монастырская гостиница и кругом — проволока колючая, снова проволока и снова колючая, и стены в проволоке колючей, и на них дозорные будки и кругом будки, и всюду часовые и винтовки. На маленьком клочке земли столько проволоки и столько войск. Мне показалось, что это не концлагерь, а важный участок боевого фронта. К огорчению нашему — не фронт, это — наша тюрьма, отдаленно напоминающая Александровский централ, это — наша каторга, новая советская каторга...

Никакого концлагеря, никакого "полегчания", наоборот — жестокое, иезуитски придуманное ухудшение положения. Внутри этой проволоки мы свободно гуляем до 6 ч<асов> вечера, но площадка так мала, что пропадает охота гулять. Нас встретила группа человек в 30, социалистов и анархистов. Главная группа здесь — с.-р., затем идут анархисты, потом с.-д. Как я уже сказал, мы приехали через несколько дней после снятия осадного положения в лагере. С нашего приезда здесь, как будто, начинается "новая эра". Что было до сих пор? Какие отношения сложились между заключенными и администрацией? Какое наследство мы получили? Лучше я со слов товарищей расскажу тебе по порядку хронологически, и ты сама составишь себе представление о жизни в нашем "желтом доме".

29/XII первая партия социалистов прибыла в Пертоминск. Было заявлено — открывать окно запрещено, иначе будут без предупреждения стрелять. 30/XII, т<о> е<сть> на следующий день, дежурный надзиратель из заключенных, бывший савинковец, Андрианов, разрешил открыть окно. Немедленно раздался выстрел и случайно не убил стоявшего у окна анархиста Цукермана. Через несколько минут врывается в коридор вооруженная банда и требует сказать, кто стрелял в часового. Когда этим наглецам разъяснили, в чем дело, они, удаляясь, как бы мимоходом,

бросили — "что же, потерпите — революция". Злились ли они на революцию и хотели ли мстить за нее, или это означало — "попили нашей кровушки" трудно установить. Думали, на этом кончилось.

31/XII утром оказалось — не дают воды для умывания. Никто ничего не говорил, но оказалось — наказание. Почему наказание? Все-таки — наказание; не только воды не дали, но лишили прогулки и закрыли камеры. 1/I воды не дают, на прогулки не выпускают, камеры закрыты. Терпение пропадает. Вызывают начальство для объяснения. Оказывается, наложено дисциплинарное взыскание за оскорбление надзора. 3/I камеры, наконец, открываются. Вздох облегчения, но в 8 ч<асов> вечера камеры неожиданно снова закрываются, в 10 ч<асов> открываются, в 11 ч<асов> снова закрываются, в 5 ч<асов> утра снова открываются. С ума можно сойти от этой системы дерганья.

Три дня относительного покоя. 27/I скудный паек, состоящий из одного фунта хлеба, знаменитой баланды и кашицы на ужин, сокращается наполовину. Вечером запретили петь, смеяться, играть в шахматы. А несколько позже пришел комендант Бачулис в яркой атласной рубашке, с неизменно расстегнутым воротом, пришел мириться, разрешил ежедневную часовую прогулку. 8/I прогулка не состоялась, т<a>ж к<a>к Бачулис издал новое распоряжение: прогулка 3 раза в неделю. 9/I прогулка состоялась. Тихая радость — комендант заявил, что отныне прогулка будет ежедневная. 10/I назрел новый вопрос — в камерах нет света. Присылая политических противников на длительное заключение в тюрьму — ГПУ не позаботилось даже о том, чтобы заготовить лампы, стекла и керосин. В камерах коптилки. В этот вечер отобраны и эти зловонные коптилки — керосину мало — нечего зря жечь его. Остались в темноте.

11/I — литературное утро — возвращена первая партия книг, отобранных при обыске; не пропущены, запрещены к обращению: К. Маркс — "Капитал", т. 1, Железнов — "Политическая экономия", Верещагин — "Сборник арифметических задач". А рукописи и отобранные тогда выписки из книг — сожжены. Мотивы? "Чтобы не утруждать ни себя, ни вас и не разводить грязи".

12/I снова перебой в прогулках — начальство уехало в ближайшее село Ненаксу на вечеринку. Нет, не на вечеринку, а с культурно-просветительской миссией. Начальство здесь, начиная с коменданта — актеры. Сам комендант — великий актер, он живет в театре, пишет даже пьесы. Его конкурентом является какой-то из заключенных чекистских писателей. По заказу, за лишней паек хлеба — он пишет комедии, шаржи, стихи. Театр для начальства даже средство борьбы. Уже когда я был здесь, в театре был изображен грубый шарж на социалистов, как они неумело рубят лес, как неудачливо строят гору из снега. В другой раз борзописец написал целый водевиль, где прокатывал с.-р. Одним словом, театр уехал за несколько верст от лагеря на гастроли — прогулки не могут быть разрешены.

15/I была прогулка, но лучше бы ее не было. Анархистка Лютович и с.-р. присели отдохнуть; приказали встать: "гулять так гулять". Завязалась перебранка, которая чуть-чуть не закончилась стрельбой. 18/I совершенно неожиданный номер: приказано собираться и выезжать в Архангельск. Собрались, пошли, прошли верст 40, вдруг догоняет новое распоряжение: вернуться обратно в лагерь. Вернулись, 21/I прибыли в старое помещение, нетопленное. 22 и 23 (два дня) не выдавали горячей пищи. 26 снова закрыты камеры, 28 — прогулки уменьшены до 45 минут. 30 — прогулки нет, надзор занят. 31 — снова попытка закрыть камеры. Заключенные не дают закрывать их. Врывается вооруженная банда и, угрожая револьвером, загоняют в камеры. Слух — прибыла новая партия.

Действительно, прибыла и привезла копию отношения Упр<авления> Сев<ерными> лаг<ерями> на имя коменданта. Выходят из камер. С головы до ног вооруженный комендант заявляет, что это отношение для него не обязательно: "Я упрямее жиды и ни за что не уступлю". Затем, основательно выругавшись и замахнувшись кинжалом на стоявших перед ним товарищей, командует: "Чекисты — вперед". Преступники из ЧК, с винтовками наперевес, бросаются к товарищам. Через 10 минут "боя" армия удаляется. Камеры открыты. 2/II ночью камеры были тихо закрыты, на утро — та же история с вводом вооруженных банд, с угрозами. Камеры все же открыты. 4 заключенных подают заявление в ГПУ о всех творящихся безобразиях и решают его подкрепить голодовкой с утра 5/II. В тот же день вечером все требования удовлетворены. От 8/II до 12/II передышка, дни покоя и отдыха. Комендант уехал в Архангельск.

За время его отсутствия был разрешен один важный вопрос: с согласия заместителя коменданта решено от системы сплошных нар перейти к койкам. Выданы инструменты, началась перестройка. 12/II приехал комендант. Неожиданно стрельба в воздух, затем тревога: отчаянно бьют во все монастырские колокола. Желтый дом окружен штыками. В помещение вводится вооруженная стража. В чем дело? Отчего война? Оказывается комен<дант> против перехода к коечной системе и грозно требует возвращения инструментов, данных его замес<тителем>.

14 февраля ликвидируются наши старые конфликты, отобранные и задержанные книги возвращаются, на многих из них совершенно гомерические резолюции, случайно не приведенные в исполнение. Вот на выдержку некоторые из них. Лазерон — "Национальность и государствен<ный> строй", изд<ано> в 18 г<оду>, резолюция: "Керенщина — долой". Богданов и Степанов — "Курс Полит<ической> Экономии" — "Керенщина". Иванов-Разумник — Герцен, изд<ательство> Колос, 20 г<од> — "уничтожить". Лавров — "Социальная революция и задачи нравственности" — "уничтожить". Фигнер — "Запечатленный труд" — "оставить до выяснения". Как видишь, повезло только Фигнер.

Через неделю после особенно обостренного периода борьбы приехали в Пертоминск и мы. Послушали рассказы о тактике измора в сумасшедшем доме, насмотрелись, разместились и, внутренне подобравшись, стиснув зубы, стали ждать нашей очереди. Через дня 2-3 нечаянная радость, комен<дант> Бачулис смещен. Уехал.

Новый нач<альник> объявил "эру реформ". Мелочами он нас доносить не будет. Но у реформатора есть свой гвоздь. Это изоляция. На этой изоляции он строит свой план. Надзор увеличен. На кухне уже был "случайный обыск" у наших поваров, чего раньше не было. Да здравствует изоляция, и изолированы-то мы и без того более, чем достаточно, просто отрезаны от внешнего мира, сидим без всякой связи, без писем, газет. Такое впечатление — точно попал на самый край света, дальше — льды, снега, тюлени, медведи.

Вот уже 3-й месяц сидят соц<иалисты> — писем по общему праву нет, газет нет, посылок почтовых нет, денег по почте не получаем. А каждый знает, что ему пишут, шлют посылки, непрерывно думают о нем. Вот так мы и сидим без всякой почты, замурованные в старом монастыре, в 10 верстах от дер<евни> Красная Гора. В ней почтово-телеграфная контора, но телеграфом нам до сих пор не разрешено пользоваться, а нелегально передать писем невозможно. По официальному заявлению нач<альника> конторы между Арх<ангельским> От<елом> ГПУ и Нач<альником> связи Арх<ангельска> достигнуто соглашение, по которому письма и телеграммы заключенных не могут приниматься без соглашения с комен<дантом> Перт<оминского> лагеря.

Нелегальные письма изымаются из оборота путем систематической всеобщей перлюстрации. Пишу письмо и думаю: а дойдет ли оно? Ведь это первое письмо, где можно писать не только о пище, здоровье, воздухе, о том, что тебя волнует, и чем ты живешь. Я кончаю. Не хочу, чтоб у тебя осталось тяжелое впечатление от моего письма. Мы все молоды, крепки, бодры. За жизнь мы цепко держимся. Жить по-настоящему еще хотим. Нет, не так легко от нас отделаться. Не так уже просто с нами справиться. Но именно эта наша живучесть, сознание нашей человеческой и исторической нужности может принести нам здесь, в глухом углу, на берегу Белого моря, много тяжелых испытаний и неожиданностей. Здесь все возможно. Сегодня и вчера спокойно, острые углы сглажены. А завтра? Что будет завтра? Кто знает? В обстановке военного лагеря, представляющего позицию против социализма, в обстановке, овеянной тенями и легендами недавнего страшного прошлого, может произойти страшное, непоправимое. В голову ползут всякие непрошенные мысли»².

² ГАРФ. Ф. 8409. Оп.1. Д. 9. С. 127-128. Машинопись.